



## В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ

### Императрица Екатерина II

(1729—1796)

#### I

Для Екатерины II наступила историческая давность. Это налагает некоторые особые обязательства на мысль, обращающуюся к обсуждению ее деятельности, устанавливает известное отношение к предмету, подсказывает точку зрения.

В ее деятельности были промахи, даже крупные ошибки, в ее жизни остаются яркие пятна. Но целое столетие легло между нами и ею. Трудно быть злопамятным на таком расстоянии, и именно при мысли о наступлении второго столетия со дня смерти Екатерины II в памяти ярче выступает то, за что ее следует помнить, чем то, чего не хотелось бы вспоминать.

Царствование Екатерины II — это целая эпоха нашей истории, а исторические эпохи обыкновенно не замыкаются в пределы людского века, не кончаются с жизнью своих творцов. И время Екатерины II пережило ее самое, по крайней мере после четырехлетнего перерыва было официально воскрешено манифестом второго ее преемника, объявившего, что он будет царствовать по законам и по сердцу своей бабки<sup>1</sup>. Екатерину и по смерти ее восхваляли или порицали, как восхваляют или порицают живого человека, стараясь поддержать или изменить его деятельность. И Екатерины II не миновал столь обычный и печальный вид бессмертия — тревожить и ссорить людей и по смерти. Ее имя служило мишенью для полемического прицела в противников или приверженцев ее политического направления. Живые интересы и мнения боролись на ее могиле. Уронить ее бюст или удержать на пьедестале значило тогда дать то или другое направление жизни.

Столетняя давность, отделившая нас от Екатерины II, порождает все эти споры и вражды. Наши текущие интересы не

имеют прямой связи с екатерининским временем. Екатерина II оставила после себя учреждения, планы, идеи, нравы, при ней воспитанные, и значительные долги. Долги уплачены, и другие раны, нанесенные народному организму ее тяжелыми войнами и ее способом вести «свое маленькое хозяйство»<sup>2</sup>, как она любила выражаться о своих финансах, давно зарубцевались и даже закрылись рубцами более позднего происхождения. Из екатерининских учреждений одни действуют доселе в старых формах, но в духе новых потребностей и понятий, другие, как, например, местные судебные учреждения, отслужили свою службу и заменены новыми, совсем на них непохожими ни по началам, ни по устройству; наконец, третьи по своему устройству оказались неудачными уже при самой Екатерине, но их начала были сбережены для лучшей обработки дальнейшими поколениями. Такова система закрытых, оторванных от семьи воспитательных заведений Бецкого<sup>3</sup>, замененная потом другим планом народного образования, над которым работала Комиссия народных училищ:<sup>4</sup> гуманные идеи о воспитании, усвоенные Екатериной и Бецким, пригодились и потом, при другой системе, более близкой к современной педагогике. Из предположений или мечтаний Екатерины II одни, как, например, мысль об освобождении крепостных крестьян, были осуществлены после нее так, как она и не мечтала и как не сумела бы осуществить, если бы на то решилась, а другие были упразднены самую жизнью как излишние, каковой была мысль о создании *среднего рода людей* в смысле западноевропейской буржуазии. Точно так же и идеи юридические, политические и экономические, проводившиеся в указах и особенно в «Наказе» и казавшиеся в то время новыми и смелыми, или уже вошли в плоть и кровь нашего сознания и общежития, или остались общими местами, пригодными украшать досужие беседы взрослых людей или служить темами для школьных упражнений. Что касается нравов, воспитанных влиятельными примерами и общим духом екатерининского времени, то они вообще признаны неудовлетворительными, хотя и пустили глубокие корни в обществе. Вопросы того времени — для нас простые факты: мы считаемся уже с их следствиями и думаем не о том, что из них выйдет, а о том, как быть с тем, что уже вышло.

Значит, счеты потомства с Екатериной II сведены. Для нас она не может быть ни знаменем, ни мишенью; для нас она только предмет изучения. Сотая годовщина ее смерти располагает не судить ее жизнь, а вспомнить ее время; оглянуться на свое прошлое, а не тревожить старые могилы и среди похвальных

слов и обличительных памфлетов осторожно пройти к простым итогам давно окончившейся деятельности.

Нелегко поставить мысль в такое отношение к царствованию Екатерины II. Старшие из тех, кому теперь приходится вспоминать это царствование по поводу исполнившегося столетия со дня его окончания, живо помнят еще поздние отзвуки двух резких и непримиримо противоречивых суждений о нем, сложившихся еще при жизни Екатерины II и долго державшихся в обществе после нее. Одни говорили о том времени с восторженным одушевлением или с умиленным замиранием сердца: блестящий век, покрывший Россию бессмертной всесветной славой ее властительницы, время героев и героических дел, эпоха широкого, небывалого размаха русских сил, изумившего и напугавшего вселенную. Прислушиваясь к этим отзвукам, мы начинали понимать донельзя приподнятый тон изданного шесть лет спустя по смерти Екатерины II и читанного нами на школьной скамье *«Исторического похвального слова Екатерине Второй»*<sup>5</sup> Карамзина, смущавшие незрелую мысль выражения его о Божественной кротости и добродетели, о священном духе монархини, эти сближения с Божеством, казавшиеся нам ораторскими излишествами. По мнению других, вся эта героическая эпопея была не что иное, как театральная феерия, которую из-за кулис двигали славолюбие, тщеславие и самовластие; великолепные учреждения заводились для того только, чтобы прослыть их основательницай, а затем оставлялись в пренебрежении, без надлежащего надзора и радения об их развитии и успехе; вся политика Екатерины была системой нарядных фасадов с неопрятными задворками, следствиями которой была полная порча нравов в высших классах, угнетение и разорение низших, общее ослабление России. Тщеславие доводило Екатерину, от природы умную женщину, до умопомрачения, делавшего ее игрушкой в руках ловких и даже глупых льстецов, умевших пользоваться ее слабостями, и она не приказывала вытаскивать из своего кабинета министра, в глаза говорившего ей, что она премудрее самого Господа Бога. Проходим молчанием отзывы о нравственном характере Екатерины, которых нельзя читать без скорбного вздоха.

Оба взгляда поражают и смущают не только своей непримиримой противоположностью, но и своими особенностями. Так, второй из них вызывает удивленное недоумение подбором своих сторонников. Наиболее резкое и цельное выражение его находим в известной записке *«О повреждении нравов в России»*<sup>6</sup> князя Щербатова, служившего при дворе Екатерины II, исто-

риографа и публициста, человека образованного и патриота с твердыми убеждениями. Автор писал записку про себя, не для публики, незадолго до своей смерти, случившейся в 1790 г., и собрал в этом труде свои воспоминания, наблюдения и размышления о нравственной жизни высшего русского общества XVIII в., закончив нарисованную им мрачную картину словами: «...плачевное состояние, о коем токмо должно просить Бога, чтоб лучшим царствованием сие зло истреблено было». Но вот что заслуживает внимания. Известный дорожный сон Радищева, рассказанный в «*Путешествии из С.-Петербурга в Москву 1790 г.*» в главе «*Спасская Полесь*»<sup>7</sup>, — злая карикатура царствования Екатерины II. Здесь, особенно во второй, патетической части сна, где грезивший себя шахом, ханом или чем-то в этом роде автор, прозрев от прикосновения к его ослепленным властью и лестью глазам странницы Прямовзоры, т. е. истины, видит всю бессмыслицу своих деяний, казавшихся ему божественно-премудрыми, и общий тон картины и некоторые отдельные черты живо напоминают записку князя Щербатова. Человек другого поколения и образа мыслей, ультралиберал с заграничным университетским образованием, проникнутый самыми передовыми идеями века и любивший отечество не меньше князя Щербатова, донимавший и признававший величие Петра I, сошелся во взгляде на переживаемое ими время со старым доморощенным ультраконсерватором, все сочувствия которого тяготели к допетровской старине. Что еще замечательнее, к этим «печальным часовым у двух разных дверей», как назвал князя Щербатова и Радищева один позднейший писатель<sup>8</sup>, присоединяется любимый внук Екатерины, ставший потом вторым ее преемником, которого она еще в пленках оторвала от семьи, чтобы воспитать его по своей педагогике и в своих идеях: на положение дел в государстве за последние годы жизни бабушки, которые он мог наблюдать, он смотрел не светлее князя Щербатова и Радищева. «В наших делах, — писал он Кочубею за полгода до смерти Екатерины, — господствует невероятный беспорядок: грабят со всех сторон, все части управляются дурно, порядок, кажется, изгнан отовсюду»<sup>9</sup>. «Я всякий раз страдаю, — признается он в другом месте письма, — когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша»<sup>10</sup>. Да и сам Карамзин в записке «*О древней и новой России*»<sup>11</sup>, представленной императору Александру девятью годами позднее «*Похвального слова*», рядом с блестящи-

ми сторонами царствования Екатерины отмечает и крупные «пятна»: порчу нравов в палатах и хижинах, соблазнительный фаворитизм, недостаток правосудия, преобладание блеска над основательностью в учреждениях, прибавляя к этому, что в последние годы Екатерины ее больше осуждали, нежели хвалили. Если припомнить при этом еще известную заметку Пушкина о XVIII в., писанную около 1820 г.<sup>12</sup> по свежим преданиям, то, и не упоминая о других, менее компетентных суждениях, современных или позднейших, можно понять характерно разнобразный состав того, что мы назвали бы противоекатерининской оппозицией.

И все же это были одинокие голоса, которые были слышны очень немногим, за исключением разве книги Радищева, раздавались шепотом, про себя или в тесном кругу и потому не могли расстраивать хорového суждения, так красноречиво выраженного в *«Похвальном слове»* Карамзина. И это суждение не совсем понятно и не столько по своему содержанию, сколько по своей возбужденности, по тому движению чувства и воображения, с которым оно высказывалось. Это был не исторический приговор, выведенный остывшей мыслью из обдуманых и проверенных воспоминаний о пережитом времени, а горячее, непосредственное впечатление еще живой действительности, долго не замиравшей и по смерти лица, которое было ее душой. Такое впечатление было небывалым явлением в нашей истории: ни одно царствование, по крайней мере в XVIII в., даже царствование Петра Великого, не оставило после себя такого энтузиастического впечатления в обществе. Карамзин, конечно, выражал последний, наиболее обобщенный результат, высшую сумму того, что восторженные современники видели в деятельности Екатерины II, когда писал в конце своего *«Похвального слова»*, что Россия в это деятельное царствование, «которого главную целью было народное просвещение, столь преобразилась, возвысилась духом, созрела умом, что отцы наши, если бы они теперь воскресли, не узнали бы ее»<sup>13</sup>. Все это можно было сказать и о Петре Великом, даже с прибавлением, что его главную целью было еще и народное обогащение; люди времен Алексея Михайловича также не узнали бы своей старой московской *всёя Руси* в созданной его сыном Российской империи с С.-Петербургом, Кронштадтом, флотом, балтийскими провинциями, девятимиллионным бюджетом, новыми школами и т. п. Однако даже в обществе, захваченном реформой, не в простонародной массе, незаметно такого общего весело-умиленного отношения к памяти Петра, какое потом установилось к Екате-

рине II: слышны отдельные голоса, проникнутые набожным благоговением, да и то пополам с жалобой на затруднения и огорчения, какие приходилось испытывать преобразователю, а скоро, и именно в царствование Екатерины II, послышались и резкие порицания его дела.

Это впечатление, независимо от своей исторической верности, от точности, с какою отражалась в нем действительность, само по себе становится любопытным историческим фактом, характерным признаком общественной психологии. Оно тем любопытнее, что царствование Екатерины II нельзя причислить к спокойным и легким временам, о которых люди вспоминают с особенным удовольствием. Напротив, это была довольно тревожная и тяжелая для народа пора. Сравнительным спокойствием Россия пользовалась в первые пять лет царствования, если не считать серьезным нарушением спокойствия крестьянских бунтов, в которых, по счету самой Екатерины, в первый год царствования участвовало до 200 тыс. крестьян и против которых снаряжались настоящие военные экспедиции с пушками. Затем семилетний приступ внешних и внутренних тревог (1768—1774 гг.), начавшийся борьбою с польскими конфедератами, к которой вскоре присоединилась первая турецкая война, а внутри между тем — чума, московский бунт и пугачевщина. Современники, например, князь Щербатов, думали, что первая турецкая война обошлась России дороже какой-либо прежде бывшей войны. Из официальных источников известно, что только первые два года этой шестилетней войны стоили до 25 млн руб., что почти равнялось годовому казенному доходу тех лет. Кагульский бой был выигран 17-тысячным русским отрядом у 150-тысячной турецкой армии<sup>14</sup>. Но в августе 1773 г. Екатерина говорила в Совете<sup>15</sup>, что с 1767 г. в пять наборов собрано уже со всей империи для пополнения армии до 300 тыс. рекрутов. За миром в Кучук-Кайнарджи в 1774 г.<sup>16</sup> следовало 12-летнее затишье во внешней политике: это было время усиленной внутренней деятельности правительства, эпоха законобесия (*législomanie*), как выражалась Екатерина, когда вводились новые губернские учреждения; учреждены были комиссия народных училищ и ссудный банк, обнародованы *Устав благочиния*<sup>17</sup>, жалованные грамоты дворянству и городам<sup>18</sup>, устав народных училищ 1786 г.<sup>19</sup> и другие важные государственные акты. Почти повсеместным голодом 1787 г. открылся второй приступ тревог, не прекращавшийся до смерти Екатерины: вторая турецкая война<sup>20</sup>, тяжелая не менее первой, и в одно время с нею война шведская<sup>21</sup>, две войны с Польшей перед вторым и

третьим ее разделом<sup>22</sup>, персидский поход<sup>23</sup>, финансовый кризис, военные приготовления к борьбе с революционной Францией. Из 34 лет царствования 17 лет борьбы внешней или внутренней на 17 лет отдыха! Недаром преемник Екатерины в циркуляре, разосланном к европейским дворам по вступлении на престол, называл Россию «единственной в свете державой, которая находилась 40 лет в несчастном положении истощать свое народонаселение»<sup>24</sup>. Значит, людям, пережившим сорокалетие с 1756 г., с начала Семилетней войны, оно представлялось временем непрерывного военного напряжения.

Правда, и результаты царствования были очень внушительны. Екатерина любила подсчитывать их, все чаще оглядываясь на свою деятельность по мере ее развития. В 1781 г. граф Безбородко<sup>25</sup> представил ей инвентарь ее деяний за 19 лет царствования: оказалось, что устроено губерний по новому образцу 29, городов построено 144, конвенций и трактатов заключено 30, побед одержано 78, замечательных указов издано 88, указов для облегчения народа — 123, итого 492 дела! К этому можно прибавить, что Екатерина отвоевала у Польши и Турции земли с населением до 7 млн душ обоюбого пола, так что число жителей ее империи с 19 млн в 1762 г. возросло к 1796 г. до 36 млн, армия со 162 тыс. человек усилена до 312 тыс., флот, в 1757 г. состоявший из 21 линейного корабля и 6 фрегатов, в 1790 г. считает в своем составе 67 линейных кораблей и 40 фрегатов, сумма государственных доходов с 16 млн. руб. поднялась до 69 млн, т. е. увеличилась более чем вчетверо, успехи промышленности выразились в умножении числа фабрик с 500 до 2 тыс., успехи внешней торговли балтийской — в увеличении ввоза и вывоза с 9 млн до 44 млн руб., черноморской, Екатериною и созданной, — с 390 тыс. в 1776 г. до 1900 тыс. руб. в 1796 г., рост внутреннего оборота обозначился выпуском монеты в 34 года царствования на 148 млн руб., тогда как в 62 предшествовавших года ее выпущено было только на 97 млн<sup>26</sup>. Значение финансовых успехов Екатерины ослаблялось тем, что видное участие в них имел питейный доход, который в продолжение царствования увеличен был почти вшестеро и к концу его составлял почти третью часть всего бюджета доходов. При этом Екатерина оставила более 200 млн долга, что почти равнялось доходу последних 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> лет царствования.

Результаты царствования, как ни были они важны, могли давать себя чувствовать медленно, по мере своего обнаружения, ощутительнее младшим поколениям, воспринимавшим уже сложившееся впечатление царствования, чем старшим, в кото-

рых оно складывалось; во всяком случае эти результаты могли скорее питать, чем зародить, это впечатление. Сами по себе они могли вызвать удивление, даже благоговение, какое питали к Петру I, но не восторженное обаяние.

В памяти людей, 100 лет назад оплакивавших смерть Екатерины, прежде всего выступали из прожитой дали явления, особенно сильно поразившие в свое время их воображение и чувство: Ларга, Кагул<sup>27</sup>, Чесма<sup>28</sup>, Рымник<sup>29</sup> и победные празднества, слезы, пролитые при чтении «Наказа», Комиссия 1767 г., торжественные собрания и речи наместников и дворянских предводителей при открытии губернских учреждений, блестящие оды, придворные маскарады, на которых в десятках дворцовых комнат толпилось 8540 масок, путешествие императрицы в Крым со встречавшими ее на пути иллюминациями на 50 верст в окружности, с волшебными дворцами и садами, в одну ночь созданными. Не одни Таврические сады, но и целые Новороссии вырастали из-под земли, целые флоты всплывали из-под неведомых черноморских волн в немногие годы; «монархиня повелела, и глас ее, как лира Амфионова, творит новые грады, если не великолепием, то своею пользою украшенные» (Карамзин)<sup>30</sup>. Недаром екатерининская Россия некоторым иностранцам современникам представлялась волшебною страной (*païs de féerie*). Воспоминания об этих явлениях, пережитых на протяжении 34 лет, соединяясь в быстро двигавшуюся ослепительную панораму, собирали рассеянные ощущения, ими вызванные, в цельное и сильное впечатление. Большинство тогда еще не знало закулисной механики всех этих семирамидных чудес, да если бы и знало, еще неизвестно, стало ли бы думать о них иначе: впечатление любимой пьесы не ослабляется знанием того, как, с какими усилиями и жертвами она разучивается и ставится. В записках современников Екатерины, ее переживших, останавливает на себе внимание одна черта. Они знают и трезво описывают темные стороны тогдашней правительственной деятельности и общественной жизни: небрежность и злоупотребление администрации, неподготовленность и недобросовестность судей, праздность и грубость дворянства, его нелады с крестьянами, пустоту общежития, общее невежество. Но когда они отрывались от этих вседневных печально-привычных явлений своего быта и пытались обыкновенно по поводу смерти Екатерины бросить общий взгляд на ее век, отдать себе отчет в его значении, их мысль как бы невольно, с незамечаемой ею последовательностью, переносилась в другой, высший порядок представлений, и тогда они начинали говорить о всесветной

славе Екатерины, о мировой роли России, о национальном достоинстве и народной гордости, об общем подъеме русского духа, и при этом речь их приподнималась и впадала в тон торжественных од екатерининского времени.

Они высказывали этот взгляд без доказательств, не как свое личное суждение, а как установившееся общепринятое мнение, которое некому оспаривать и не для чего доказывать. Очевидно, здесь читатель мемуаров имеет дело не с исторической критикой, а с общественной психологией, не размышлением, а с настроением. Люди судили о своем времени не по фактам окружающей их действительности, а по своим чувствам, навеянным какими-то влияниями, шедшими поверх этой действительности. Они как будто испытали или узнали что-то такое новое, что мало подняло уровень их быта, но высоко приподняло их самосознание или самодовольство, и, довольные этим знанием и самими собой, они смотрели на свой низменный быт свысока, со снисходительным равнодушием. Их чувства и понятия стали выше их нравов и привычек; они просто выросли из своего быта, как дети вырастают из давно сшитого платья. Можно даже думать, что самый пессимизм людей, мрачно смотревших на царствование Екатерины, черпал долю своей силы в этом общем духовном подъеме, происшедшем в это же царствование, и без того не был бы столь взыскателен. Если это так, то Екатерине пришлось испытать приятное и почетное неудобство, какое испытывает хороший преподаватель, который, чем успешнее преподает, тем более усиливает требовательность учеников и помогает им замечать еще не побежденные недостатки своего преподавания.

Впечатление — совместное дело обеих сторон: и источника влияния и среды, его воспринимающей. Победы и торжества, законы и учреждения, блеском которых была окружена Екатерина, конечно, должны были сильно действовать на умы. Но в этом окружении и сама власть принимала позу, в какую она не становилась прежде, являлась перед обществом с другою физиономией, с непривычными манерами, словами и идеями. Эта новая постановка власти усиливала и действие самой ее обстановки, создавала настроение, без которого все эти победы и торжества, законы и учреждения ее не произвели бы на общество такого сильного впечатления. С этой стороны впечатление царствования Екатерины — очень важный момент в истории не только нашего общественного сознания, но и государственного порядка.

Некоторые свойства характера Екатерины II и особенности ее политического воспитания имели первостепенное значение в этой новой постановке власти, как и в образовании впечатления, произведенного [ее] царствованием.

Достоинно внимания, что люди, близко наблюдавшие Екатерину II, принимаясь разбирать ее характер, обыкновенно начинали с ее ума. Правда, в уме не отказывали ей даже ее недруги, кроме ее мужа, который, впрочем, и не считался компетентным экспертом в таком деле. Однако это не была самая яркая черта характера Екатерины: она не поражала ни глубиной, ни блеском своего ума. Конечно, такому «умнику», как ее ставленник король польский Станислав Понятовский, который не мог шагу ступить без того, чтобы не сказать красивого словца и не сделать глупости, ум Екатерины II должен был казаться необъятной величиной<sup>31</sup>. «Там очень умны, там, — писал он про Екатерину г-же Жоффрен<sup>32</sup>, — но уж очень гоняются за умом». Последнее — напраслина на Екатерину и сказано по привычке судить о других по себе: кто гоняется за тем, чем уже владеет? Екатерина была просто умна и ничего более, если только это малость. У нее был ум не особенно тонкий и глубокий, зато гибкий и осторожный, сообразительный, *умный* ум, который знал свое место и время и не колол глаз другим<sup>33</sup>. Екатерина умела быть умна кстати и в меру. Она, которой со всех сторон напевали в уши о ее великом уме, так простодушно признавалась доктору Циммерману на вершине своей славы, что знала весьма много людей несравненно умнее ее. У нее вообще не было никакой выдающейся способности, одного господствующего таланта, который давил бы все остальные силы, нарушая равновесие духа. Но у нее был один счастливый дар, производивший наиболее сильное впечатление: памятьливость, наблюдательность, догадливость, чутье положения, умение быстро схватить и обобщить все наличные данные, чтобы вовремя принять решение, выбрать тон, в случае надобности благоразумная мораль и умеренно согретое чувство — все эти мелкие пружины, из деятельности которых слагается ежедневная житейская работа ума, Екатерина умела приводить в движение легко и ежеминутно, когда бы это ни понадобилось, без заметного для зрителя усилия. Эта всегдашняя готовность к мобилизации сообщала Екатерине чрезвычайную живость без увлечения. Она всегда была в полном сборе, в обладании всех своих сил. Странническая молодость Екатерины, ранняя привычка жить среди чужих людей много содействовала этой, говоря языком старых учебников психологии, постоянной *самособранности*. Отсюда же ее наход-

чивость в неожиданных затруднениях: ее трудно было заставить врасплох, и при умении собираться с мыслями она быстро соображала, чего от нее требует минута. Та же привычка жить не дома, сталкиваться с чужими людьми, в которых она нуждалась больше, чем они в ней, вместе с чутьем среды и положения рано развила в Екатерине наблюдательность, соединенную с уживчивостью: я могу приноровляться ко всяким характерам, говорила она Храповицкому, уживусь, как Алкивиад, и в Спарте и в Афинах<sup>34</sup>. Наблюдательность — на это дело больше охотников, чем мастеров. Екатерина достигла большого искусства в этом деле и выработала на то свои приемы. Она охотнее наблюдала людей, чем вещи, рассчитывая, что через знающих людей лучше узнает вещи, чем собственным изучением. Наперекор общей склонности замечать чужие слабости, чтоб ими пользоваться, Екатерина думала, что если нуждаешься в других, то полезнее изучать их сильные стороны, на которые надежнее можно опереться. И она вслушивалась и всматривалась во всякого чем-нибудь выдающегося человека, изучала его мышление, знание, взгляды на людей и вещи. В обращении она не старалась блистать разговором, чтобы не мешать высказываться собеседнику. Зато в ней удивлялись искусству слушать, долго и терпеливо выслушивать всякого, о чем бы кто ни говорил с ней; притом собеседника своего она изучала больше самого предмета беседы, хотя тому казалось наоборот. Так вместе со знанием людей Екатерина выработала себе и лучшее средство приобретать их — внимание к *человеку*, умение входить в его положение и настроение, угадывать его нужды, задние мысли и невысказанные желания: вовремя дав собеседнику почувствовать, что и он сам и его слова поняты в наилучшем для него смысле, она овладевала его доверием. В этом заключалась тайна неотразимого влияния, какое, по словам испытавшей его на себе княгини Дашковой<sup>35</sup>, Екатерина умела своим восхитительным обращением производить на тех, кому хотела нравиться. Привычка слушать могла даже превращаться у нее в автоматическую манеру: слушая знакомую возвышенно-скучную трескотню какого-нибудь Бецкого, она сохраняла вид внимания, думая совсем о другом. И она хорошо знала людей, с которыми ей приходилось вести дела, от своей горничной Марьи Саввишны Перекусихиной<sup>36</sup> до короля Фридриха II Великого<sup>37</sup>. Эти свойства помогли ей выработать пригодные средства действия в среде, где ей пришлось действовать.

«Като (Cathos, как звали Екатерину в обществе Вольтера) лучше видеть издали»<sup>38</sup>, — писала Екатерина Гримму в 1778 г.,

прося его отговорить 80-летнего фернейского пустынноика от непосильной для его лет поездки в С.-Петербург. Люди, близко видавшие ее, находили в ней немало слабостей. Ее упрекали в славолубии, «в самолюбии до бесконечности», в тщеславии, любви к лести. Может быть, корни этих слабостей лежали в самом ее характере, но, несомненно, в их развитии и формах обнаружения принимала участие ее политическая судьба. Честолюбие и слава суть потаенные пружины, которые приводят в движение государей, сказал однажды Фридрих II русскому послу, говоря о Екатерине. Но Екатерине необходимо было пользоваться этими пружинами по расчетам безопасности. Слава была для нее средством упрочить за собой приобретенное положение. Эта необходимость, возбуждая самолюбие, удерживала от ослепленного самомнения. Екатерина знала, что самомнение, принимающее притязание за таланты, — лучшее средство стать смешным, а она больше всего боялась стать предметом смеха или сострадания, что было и небезопасно в ее положении. У нее было осмотнительное, даже мнительное самолюбие, заставлявшее ее соображать замыслы и притязания со средствами оправдать их. Она признавала необходимым иметь такие оправдательные средства, но была настолько уверена в себе, что надеялась всегда найти их, когда того потребует положение. Чтобы быть чем-нибудь на этом свете, пишет она, припоминая размышления своего детства, надобно иметь нужные для того качества; заглянем-ка хорошенько внутрь себя, имеются ли у нас такие качества, а если их нет, то разоведем их<sup>39</sup>. При такой осмотнительности, находчивая и решительная в мелких случаях, она имела привычку колебаться перед крупными делами, взвешивать вероятности успеха и неудачи, советоваться, выведывать мнения.

В этой мнительности при постоянной заботе о мнении света, кажется, надобно искать и корни ее слабости к лести. Трудно подумать, чтобы при своей трезвой, положительной натуре, чуждавшейся всего мечтательного и платонического, Екатерина могла любить лесть просто за доставляемое ею чувство самодовольства и при своем самолюбии не оскорбляться обидным мнением, какое льстец имеет о своей жертве. Но, пробиваясь на простор из тесной доли, она смолоду научилась знать цену людскому мнению, и ее всегда страшно занимал вопрос, что о ней думают, какое производит она впечатление. Одобрительные отзывы были для нее что аплодисменты для дебютанта — возбуждали и поддерживали ее силы, ее веру в себя. Достигнув власти, она видела в таких отзывах признание своих добрых

намерений и сил исполнить их и считала своею обязанностью быть благодарной. Когда уволенный от должности Державин в 1789 г. поднес Екатерине чрез секретаря ее Храповицкого вместе с прошением и свою «Фелицу»<sup>40</sup>, с каким удовольствием прочитала она секретарю стихи из этой оды:

Еще же говорят неложно,  
Что будто навсегда возможно  
Тебе и правду говорить,

и сказала Храповицкому: «On peut lui trouver une place»<sup>41</sup>. Ее недостаток был в том, что наемное усердие клакеров она нередко принимала за выражение чувств увлеченной и благодарной публики. Но она обижалась лестью, когда подозревала в ней неискренность. Вольтер, один из самых усердных, но не самый ловкий из ее льстецов, не раз получал от нее почтительные и нежные щелчки за неловкость, а не за усердие. Со временем панегирики вошли в состав придворного и правительственного этикета: Екатерине жужжали в уши ее эпопею иноземные послы и сановники на куртагах и табельных торжествах, директор кадетского корпуса Бецкий — на кадетских представлениях Чесменского боя<sup>42</sup>, директор театра Елагин — на публичных спектаклях с куплетами о Кагуле или Морейской экспедиции<sup>43</sup>, генерал-прокурор князь Вяземский — в сенатских докладах и финансовых отчетах. Екатерина привычным слухом внимала всему этому песнопению как выражению обязательного усердия по долгу службы и присяги и, только когда певцы славы начинали уж слишком больно резать ухо фальцетом от избытка усердия, обращалась к окружающим со стыдливой оговоркой: «Il me loue tant, qu'enfin il me gatera»<sup>44</sup>. Она любила почтительное отношение к себе, и когда император Иосиф II, в котором она видела только немощ физическую и духовную, в 1780 г. приехал к ней на поклон в Могилев, то стал и человеком очень образованным, и «головой, самой основательной, самой глубокой, самой просвещенной, какую я знаю»<sup>45</sup>, хотя она и подшучивала язвительно над панихидой, отслуженной им в Петербурге за упокой души Вольтера из уважения к его набожной ученице<sup>46</sup>. Но, когда И. И. Шувалов, возвратясь из Италии, сообщил ей, что там художники делают ее профиль по бюстам или медалям Александра Македонского и вполне довольны получаемым сходством, она шутила над этим с видимым самодовольством<sup>47</sup>. Не видать также, чтоб она сердилась на своего заграничного корреспондента Гримма, который в шутливом письме приписал ей на 52-м году жизни «наружность матери амуров»<sup>48</sup>. Но тому

же Гримму она признавалась, что на нее благотворно действовали не похвалы, а злословие, побуждавшее ее отомстить ему, делами доказать его лживость<sup>49</sup>.

С летами, когда европейские знаменитости стали величать ее самой дивною женщиной всех времен, привычка к удаче сделала ее несколько самонадеянной и очень обидчивой. Она раздражалась не только порицанием ее действий, но и мнениями, с которыми была не согласна. Это нередко вводило ее впросак и в противоречие с собой. Это был смелый шаг с ее стороны — во французском переводе представить вниманию французского общества свой «Наказ», наполненный выписками из книг, и без того хорошо там известных<sup>50</sup>. Но французских экономистов с Тюрго во главе за то, что они осмелились разбирать «Наказ» и даже прислать ей этот разбор, она обозвала дураками, сектой, вредной для государства<sup>51</sup>. Она не могла простить Рейналю его отзыва, что ей ничего не удастся, и называла его ничего не стоящим писателем<sup>52</sup>. Даже свой вкус она считала обязательным для других и за это раз была наказана своим главным кухмистером Барманом<sup>53</sup>. Екатерина любила архитектуру, живопись, театр, скульптуру, но музыки не понимала и откровенно признавалась, что для нее это шум и больше ничего. Веселая и смешливая, сама признававшая веселость наиболее сильной стороной своего характера, она допускала исключение только для комической оперы, и выписанный из Италии маэстро Паизиелло<sup>54</sup> веселил ее на ее эрмитажном театре оперой «Le philosophe ridicule», где, по ее словам, морила ее до упаду ария, в которой положен на музыку кашель. Она заставляла посещать эту оперу даже святейший Синод, который, по ее словам, «также смеялся до слез вместе с нами». Она вообще любила веселый репертуар и раз за обедом спросила Бармана, нравится ли ему «Die schöne Wienerin»<sup>55</sup>, фарс, особенно ее увлекавший. «Да бог знает, оно как-то грубо», — отвечал простодушно несообразительный кухмистер. Екатерина вспыхнула и едва ли удачно поправила положение, заметив в тоне той же *schöne Wienerin*: «Я желала бы, чтобы у моего главного кухмистра был такой же тонкий вкус (разумеется, кухонный), как тонки его понятия».

Впрочем, бюсты Александра Македонского не усыпляли в ней ее истинной силы — энергии. Приняв решение после некоторых колебаний, она действовала уже без раздумья, и тогда все на свете в ее глазах становилось прекрасным: и положение империи, и дела сотрудников, и ее собственные дела — все благоденствовало, пело и плясало. Во время первой турецкой войны, когда на Западе трубили уже об истощении России, Екате-

рина писала Вольтеру, что у нее в империи нигде ни в чем нет недостатка, нет крестьянина, который не ел бы курицы, когда хотел<sup>56</sup>, везде поют благодарственные молебны, пляшут и веселятся, а когда в 1769 г. русские дела шли совсем плохо и недоброжелатели Екатерины потирали руки от удовольствия, пророча ей скорое падение, она писала подруге своей матери Бьелке: «Пойдем бодро, вперед! — поговорка, с которою я провела одинаково и хорошие, и худые годы, и вот прожила 40 лет, и что значит настоящая беда в сравнении с прошлым?»<sup>57</sup> Бодрость была одним из самых счастливых свойств характера Екатерины, и она старалась сообщать ее своим сотрудникам в самых простых формах. Когда австрийцы, во все время первой турецкой войны грозившие России заступиться за турок, завершили свое заступничество тем, что отняли у своих клиентов Буковину, с каким самодовольством писала она князю Репнину, что цесарцы непременно поссорятся с турками и будут побиты, а она руки в боки, фертон будет сидеть да смотреть на это, повторяя: вот так удружили!<sup>58</sup> Екатерина не выносила уныния. «Для людей моего характера, — признавалась она, — ничего нет в мире мучительнее сомнения»<sup>59</sup>. Притом уныние вождя расстраивает команду, и Екатерине подчас приходилось поступать, подобно людям, над которыми они с Гриммом шутили в своей переписке, которые поют ночью на улице, чтобы показать, что они не трусы, а еще более из боязни, как бы не струсить<sup>60</sup>. Только раз, когда получено было известие, что турки объявили войну (вторую), замечена была ее минутная робость, и она с упавшим духом начала было говорить об изменчивости счастья, о непрочности славы и успехов, но скоро пришла в себя, с веселым видом вышла к придворным и всем вдохнула уверенность в успехе<sup>61</sup>. Так рассказывает очевидец. В этих случаях Екатерину выручало ее испытанное самообладание, выработанное ею еще в те времена, когда в незавидном положении брошенной жены, оскорбляемая мужем как жена и как женщина, и в возможном будущем с клобуком русской инокини на своей вольтерьянской голове, она наедине обливалась слезами, но тотчас вытирала глаза и как ни в чем не бывало, с веселым лицом выходила в общество. Недаром она хвалилась, что никогда в жизни не падала в обморок<sup>62</sup>. Очень редко, и то лишь в первые шаткие годы царствования, видали ее задумчивой. До поздних лет, на седьмом десятке, в добрые, как и худые дни, она встречала являвшихся по утрам статс-секретарей со своей всегдашней, всем знакомой улыбкой, сидя на стуле за маленьким выгибным столиком в белом гродетуровом капоте и белом флеровом немнож-

ко набекрень чепце на довольно густых еще волосах, со свежим лицом и с полным ртом зубов (одного верхнего недоставало), в очках, если вошедший заставлял ее за чтением, в ответ на низкий поклон ласково, со своим характерным поворотом головы под прямым углом протягивала руку и, указывая на стул против себя, своим протяжным и несколько мужским голосом говорила: «Садитесь».

Живость без возбужденности требовала работы, и современники удивлялись трудолюбию Екатерины. Она хотела все знать, за всем следить сама. Находя, что человек только тогда счастлив, когда занят, она любила, чтобы ее тормозили, и признавалась, что от природы любит суетиться и, чем более работает, тем бывает веселее. Постоянная работа стала ее привычкой и спасала ее от скуки, которой она так боялась. Занятия шли у нее в строго размеренном порядке, однообразно повторявшеюся изо дня в день чередой, но, по ее словам, в это однообразие входило столько дела, что ни минуты не оставалось на скуку. Когда наступали важные внешние или внутренние дела, она обнаруживала усиленную деятельность, по ее выражению, суетилась, не двигаясь с места, работала, как осел, с 6 часов утра до 10 вечера, до подушки, «да и во сне приходит на мысль все, что надо было бы сказать, написать или сделать»<sup>63</sup>. Сам Фридрих II дивился этой неутомимости и с некоторой досадой спрашивал русского посла: «Неужели императрица в самом деле так много занимается, как говорят? Мне сказывали, что она работает больше меня»<sup>64</sup>.

В молодости она много работала над своим образованием и рано запаслась разнообразными сведениями. Свою начитанность она объясняла житейскими неудачами, доставившими ей для того много досуга. В шутливой эпитафии самой себе, написанной в 1778 г., она признается, что 18 лет скуки и уединения (т. е. замужества, 1744—1762 гг.) заставили ее прочитать множество книг. Приобретенный запас она старалась пополнять и на престоле. Она хотела стоять в уровень с умственным и художественным движением века. С.-Петербургский Эрмитаж со своими картинами, ложами Рафаэля<sup>65</sup>, тысячами гравюр, камей — монументальный свидетель ее забот о собирании художественных богатств, а в самом Петербурге и его окрестностях, особенно в Царском Селе, сохранились еще многие сооружения работавших по ее заказам иностранных мастеров Тромбара<sup>66</sup>, Кваренги<sup>67</sup>, Камерона<sup>68</sup>, Клериссо<sup>69</sup>, не говоря уже о Фальконете<sup>70</sup>, а также и о русских художниках Чевакинском<sup>71</sup>, Баженове<sup>72</sup> и многих других. Из Плутарха, Тацита и других древних писа-

телей, прочитанных ею во французских переводах, из романов, драм, опер, разных историй она запаслась множеством политических и нравственных примеров, изречений, анекдотов, острот, поговорок, разнообразных мелких сведений, которыми она поддерживала гостиную *causerie*<sup>73</sup> на своих вечерах и украшала свою обширную переписку. В научном и литературном движении Запада она хотела участвовать не одними щедрыми подарками, пенсиями, покупками по пожалованному ей там званию царскосельской Минервы, но и прямым знакомством с ученою литературой как образованный человек своего времени. При свидании в Могилеве Екатерина самодовольно удивилась, заметив, что «Эпохи» Бюффона<sup>74</sup> еще не попадались Иосифу II под руки. Сама она прочитала эту книгу с увлечением и признавалась, что Бюффон своим творением прибавил ей мозгу. Она штудирует историю астрономии Бальи<sup>75</sup>, торопит свою Академию наук определением широты и долготы городов С.-Петербургской губернии, изучает Гиббона<sup>76</sup>, английского законоведа Блекстона<sup>77</sup>, обрабатывает русские летописи, чтобы составить историю России для своих внуков, и даже погружается в сравнительное языковедение, чему опять помогло одно домашнее горе. Летом 1784 г. умер Ланской<sup>78</sup>. Екатерина, называвшая его своим воспитанником, была безутешна, опасно занемогла сама, оправилась, но замкнулась в своем кабинете, не могла ни есть, ни спать, не выносила лица человеческого. Почувяв беду, прискакал из Крыма другой воспитанник — Потемкин и вместе с Ф. Орловым осторожно пробрался к Екатерине. Она расплакалась, за ней заревели оба утешителя, и «я почувствовала облегчение», — добавляет она, описывая эту сцену<sup>79</sup>. Она хотела утопить свое горе в усиленном чтении и принялась за присланное ей незадолго перед тем многотомное филологическое сочинение *in quarto*<sup>80</sup> французского ученого Кур де Жебеленя «*Monde primitif*»<sup>81</sup>. Она увлеклась мыслью автора о первобытном, коренном языке, праотце всех позднейших, обложила себя всевозможными лексиконами, какие могла собрать, и принялась составлять сравнительный словарь всех языков, положив в основу его русский, собирая для него материалы, тормозила филологическими запросами и поручениями своих послов при иностранных дворах, губернаторов, даже восточных патриархов и самого маркиза Лафайета<sup>82</sup>. Эти словарные хлопоты кончились тем, что работа со всеми собранными материалами была передана академику Палласу, который к 1787 г. и приготовил первый том издания под заглавием «*Сравнительные словари всех видов языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особы*»<sup>83</sup>.

Наиболее сильное действие на политическое образование Екатерины оказало ее столь известное знакомство с тогдашней литературой просвещения — с Монтескье<sup>84</sup> и Беккариа<sup>85</sup>, которыми она так усердно воспользовалась для своего «*Наказа*», и особенно с Вольтером, которого она благоговейно называла своим учителем и которому писала, что желала бы знать наизусть каждую страницу его «*Опыта*» всеобщей истории<sup>86</sup>; по смерти его она выражала желание, чтоб его изучали, затверживали наизусть, и писала, что изучение его образует граждан, гениев, героев и писателей, разовьет сто тысяч талантов<sup>87</sup>. Вольтеру она была благодарна и за то, что он, по ее словам принцу де Линю, ввел ее в моду<sup>88</sup>. Но к другим литературным корифеям она потом охладела и жаловалась тому же принцу, что они навели на нее скуку и не поняли ее. Она не любила людей, натертых чужим умом и знанием, как говорила она, повторяя выражение своей приятельницы г-жи Жоффрен<sup>89</sup>. Но сама она была так восприимчива, так быстро схватывала и усвояла чужую идею, что присвояла ее себе, а в источнике видела только ее развитие или же развивала ее по-своему. Отсюда ее склонность подражать и пародировать. Прочитала она в немецком переводе драматические хроники Шекспира, и у нее явился свой «*Рюрик*», «историческое представление, подражание Шакеспиру»<sup>90</sup>. Из внимательного изучения политической литературы она едва ли вынесла какой-либо определенный, цельный план нормального государственного устройства. В упомянутой эпитафии она называет себя женщиной с добрым сердцем и республиканскою душой, именно с *душой*, а не с образом мыслей, соответствующим такому политическому порядку. Как все люди, больше наблюдавшие, чем размышлявшие, она не исчерпывала усвояемой идеи до дна, до глубины ее корней, а овладевала ею лишь настолько, чтоб ее можно было растолковать другим без особенных усилий и развить в понятные всем последствия. О Блекстоне, который был для нее обильным источником юридических сведений и законодательных идей, она писала, что ничего не берет из его сочинений прямо, целиком, а только вытягивает оттуда нить, которую разматывает по-своему. Но это изучение приучило ее мысль размышлять о таких трудных предметах, как государственное устройство, происхождение и состав общества, отношение лица к обществу, дало направление и освещение ее случайным политическим наблюдениям, уяснило ей основные понятия права и общежития, те политические аксиомы, без которых нельзя понимать общественной жизни и еще менее можно руководить ею. Так как в тогдашних теориях по-

литика неразрывно связывалась с гражданской моралью, то политические понятия Екатерины окрасились тем несколько туманным благодушным свободомыслием, которое усваивается именно добрым сердцем больше, чем сознанием, и не облекается в какие-либо практически пригодные учреждения или законы, а выражается больше в приемах и духе управления, растворяется в чувство общего доброжелательства к человеку и человечеству, в желание им счастья и свободы от всякого гнета и заблуждения. Это и были те «мои принципы», которые потом подробно и систематически изложены были в «Наказе» и на которые она указывала Комиссии об уложении, как на основание нового законодательства, ею предпринятого. Она начала обдумывать их еще до воцарения, руководимая каким-то внутренним голосом, который, как она признается в своих мемуарах, ежеминутно внушал ей, что рано или поздно она достигнет русского престола. Сохранилось несколько записочек, в которых она набрасывала мысли, мимолетно набегавшие среди чтения и вызванных им размышлений. «Я желаю только добра стране, куда Бог меня привел, — писала она, — слава страны составляет мою собственную — вот мой принцип; была бы я очень счастлива, если бы мои идеи могли этому способствовать»<sup>91</sup>. Эти идеи относились и к внешней и к внутренней политике. Обширной империи, нуждающейся в населении, необходим мир. В этом отношении едва ли полезно обращать наших инородцев в христианство: многоженство лучше содействует умножению населения. «Власть без народного доверия ничего не значит для того, кто хочет быть любимым и славным»<sup>92</sup>. Для этого стоит только принять в основание действий народное благо и правосудие. «Хочу общей цели — сделать счастливыми, а не каприза, ни странностей, ни жестокости»<sup>93</sup>. Средства действий — правда и разум, который, будьте уверены, возьмет верх в глазах толпы. Правосудию и христианской религии противно рабство. Все люди рождаются свободными. «Хочу повиновения законам, а не рабов». Но разом освободить русских крестьян нельзя: этим не приобретешь любви землевладельцев, исполненных упорства и предрассудков. Но есть легкий способ: *постановить* освобождать крестьян при продаже имений, и вот через сто лет народ свободный. «Свобода — душа всех вещей, без тебя все мертво»<sup>94</sup>. Необходимы новые законы. Единственное средство узнать, хорош или нет новый закон, — распустить о нем слух на рынке и велеть доносить, что про него говорят<sup>95</sup>. «Но кто вам донесет о последствиях в будущем?»<sup>96</sup> Необходимо отменить варварский обычай пытки, ненавистную конфискацию имущества виновных, чрез-

вычайные судные комиссии, особенно секретные, к которым, «мне кажется, всю мою жизнь буду чувствовать отвращение»<sup>97</sup>. Однако главное дело не в законах. «Снисхождение, примирительный дух государя сделают более, чем миллионы законов, а политическая свобода даст душу всему. Часто лучше внушать преобразования, чем их предписывать»<sup>98</sup>. Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены, писала Екатерина в 1765 г. в наставлении своему сыну<sup>99</sup> и потомкам: «Изволь мериться на сей аршин; а если кто из вас, мои дражайшие потомки, сии наставления прочтет с уничтожением, так ему более в свете и особливо в российском счастья желать, нежели пророчествовать можно». С годами, под веянием житейского опыта ее мысль несколько остыла и возвратила свою природную трезвость, даже с оттенком какого-то шутивого пессимизма. «Tout se mange dans ce monde-ci»<sup>100</sup>, — сказала она однажды Храповицкому, увидев, как галки и вороны клевали червей, выползших из земли после дождя. Все-то на свете ест друг друга, и под влиянием этого наблюдения она писала, что только посредственные головы могут увлекаться мечтой о вечном мире. Юношеские идеи не были брошены, но получили более тесное применение, были переведены из политики в литературу. «Я вполне понимаю ваши великие начала, — говорила она своему гостю Дидро в 1774 г., — только с ними хорошо писать книги, но плохо действовать. Вы имеете дело с бумагой, которая все терпит, а я, бедная императрица, имею дело с людьми, которые почувствительнее и пощекотливее бумаги»<sup>101</sup>. Поблекла и юношеская вера в силу правды и разума. «Род человеческий вообще склонен к неразумию и несправедливости, — писала Екатерина доктору Циммерману, — если бы он слушался разума и справедливости, то *в нас* (государях) не было бы нужды»<sup>102</sup>. Прежде разум и правда казались ей необходимыми и достаточными опорами власти, желающей быть благотворной и сильной, а теперь сама власть представлялась ей печально необходимою заплатой на прорехах человеческой природы, образуемых недостатком этих благодетельных сил.

Таковы личные средства, принесенные на престол Екатериной. Они состояли в гибкости и энергии характера, «в волюшке, — по ее выражению, — против которой не устоит никакое препятствие», в житейском опыте, сообщавшем ей тот «закал души», которым она так гордится в своих записках, в чутье среды и уменье к ней применяться, в значительной выработке политического мышления и в обильном запасе гуманных политических идей, не вполне ясных и согласенных между собою,

едва выходявших из расплавленного состояния, не успевших еще отлиться в твердые убеждения и много-много кристаллизовавшихся в добрые намерения. Но она знала по опыту и записала в одной из записочек, что «недостаточно быть просвещенным и иметь наилучшие намерения и даже власть исполнить их». Надобны еще обдуманые приемы действия, подходящие исполнители, подготовленные умы и слаженные интересы.

«У меня много постоянства и великое уважение к истине», — наставительно писала однажды Екатерина датскому королю Христиану VII<sup>103</sup>. Отклоняя от себя излишние похвалы, она любила приписывать свои успехи сотрудникам и счастью: «Поверьте, — говорила она принцу де Линю, — я только что счастлива, и если мною несколько довольны, то это потому, что я несколько постоянна и одинакова в своих привычках»<sup>104</sup>. Но князь Щербатов упрекает ее в такой изменчивости, «что редко и один месяц одинаковая у ней система в рассуждении правления бывает»<sup>105</sup>. Должно быть, этот упрек относится больше к ее приемам действия. В этом отношении она не была особенно строга. Ссылаясь на пример дон Базилио в *«Севильском цирюльнике»*, она писала: «И у меня есть кой-какие маленькие правила, которые я прилагаю с известным разнообразием»<sup>106</sup>. Она думала, что каждый принимает тон и склад своего положения и что для успеха в этом мире иногда необходимо разнообразить свою походку. Держась известных принципов, она не считала необходимым возводить в неподвижную систему приемы действия, сообразуемые с вечно меняющимися минутами. Сопоставляя представительные французские собрания при Калонне и Неккере<sup>107</sup> со своею Комиссией 1767 г., она писала: «Мое собрание депутатов вышло удачным, потому что я сказала им: знайте, вот каковы мои начала; теперь выскажите свои жалобы; где башмак жмет вам ногу? Мы постараемся это поправить; у меня нет системы, я желаю только общего блага»<sup>108</sup>. Оставаясь верной раз поставленным задачам, она не держалась педантически однообразных приемов действия, умозрительно рассчитанных и не согласованных с наличными условиями дела. Она вообще не принадлежала к числу людей, готовых во имя порядка ввести анархию, и не хотела своему правоверию старообрядчески жертвовать самою верой. Такой выбор приемов показывает, что из политической философии путем ее изучения Екатерина извлекла больше политики, чем философии. Этот выбор облегчался уменьем Екатерины смотреть в глаза действительности прямо и просто и даже находить в своем юморе утешение при виде неустрашимых зол. «Меня обворовывают точно так же, как и

других, но это хороший знак и показывает, что есть что воровать»<sup>109</sup>, — писала она г-же Бьелке в 1775 г. Притом, слабо чувствуя на себе давление местных обычаев и преданий как пришедшая из другого мира, она была свободнее в выборе способов действия и установке своих отношений, и ей было легче, чем Марии-Терезии<sup>110</sup> или Георгу III<sup>111</sup>, подшучивать над китайскими людьми, которые, по ее довольно наглядному уподоблению, всегда сидят по уши в своих обычаях и преданиях и не могут высморкаться, не справляясь с ними<sup>112</sup>.

Она не отказывалась от такой же свободы действия и в своих отношениях к сотрудникам. Она ценила их заслуги, это было одним из основных ее правил. «Кто не уважает заслуги, — писала она в одной из ранних своих записок, — тот сам их не имеет; кто не старается отыскать заслугу и не открывает ее, тот не достоин и не способен царствовать»<sup>113</sup>. К такому энергическому признанию заслуги обязывало Екатерину и особенное значение людей с заслугами для того порядка, какой она считала необходимым для России и в ней поддерживала. Как самодержавная императрица она думала, что ход дел в государстве зависит не столько от его устройства, сколько от его управителей. Негодуя на дурное ведение дел в современной ей Англии при конституции, считавшейся лучшею в Европе, она писала: «Вот что значат мальчишки; но прежде дела шли иначе, стало быть, не формы, а деятели виноваты»<sup>114</sup>. Однако не видно, чтоб Екатерина усиленно искала талантов. «Когда мне в молодости, — признавалась она, — случилось встретить умного человека, во мне тотчас рождалось горячее желание видеть его употребленным ко благу страны»<sup>115</sup>. Но с годами она стала относиться к этому хладнокровнее и даже считала возможным обойтись без поисков за дарованиями, хотя и любила и умела пользоваться попадавшимися под руку. Она не боялась и не чуждалась людей даровитых, но считала неспособных более удобными сотрудниками. «Бог нам свидетель, что мы, круглые невежды, не имеем никакой особенной склонности к дуракам на высоких местах». Но, думала она, нельзя же отыскивать людей по картинке, по своему фасону или идеалу, да и нет нужды в таких поисках. Нужные люди всегда найдутся, когда понадобится. «Всякая страна способна доставлять людей, необходимых для дела. Я никогда не искала и всегда находила под рукою людей, которые мне служили, и большею частью служили хорошо». Екатерина относилась к способным людям точно так же, как к собственным способностям: нет таких людей вокруг, надо их сделать из тех, какие есть. Значит, дело не в том, чтоб искать людей, а в том,

чтоб уметь пользоваться теми, кто под рукою, и искусство править в том, «чтобы со всякими людьми заставляя дела идти как можно лучше»<sup>116</sup>. Может быть, такой взгляд был лишь обобщением счастливой случайности: Екатерине посчастливилось при вступлении на престол среди *всяких* людей найти под рукой таких, с которыми можно было вести дела хорошо. Однако в начале царствования она однажды жаловалась французскому послу Бретейлю<sup>117</sup> на неспособность своих министров, прибавив, что, к счастью, молодые люди подают ей утешительные надежды. Она начала царствовать с людьми елизаветинской школы, т. е. с самоучками: с Бестужевым-Рюминым<sup>118</sup>, Шаховским<sup>119</sup>, Шуваловым<sup>120</sup>, Воронцовыми<sup>121</sup>, Паниными<sup>122</sup>, Голицыными<sup>123</sup>, Румянцевым<sup>124</sup>, Чернышевыми<sup>125</sup>. Она нуждалась в них, они ей усердно служили, некоторые очень много для нее сделали; она их ценила, но не любила, втихомолку подсмеивалась над ними и постепенно почти со всеми разошлась. Она считала полезным обновлять правительственный персонал и любила новых людей, которых ставила подле старых или на их место, чтобы, по ее словам, мешать ржавчине останавливать колеса и прищипоривать бездарности. Может быть, за эту наклонность менять людей и приписывали ей правило, выражавшееся ею в известной поговорке о выжатом лимоне. Она хотела иметь *своих* людей, образовать свою школу из новых талантов, ею открытых. «Я не боюсь чужих достоинств, — говорила она, — напротив, желала бы иметь вокруг себя одних героев и все на свете употребляла, чтобы сделать героями тех, в ком видела малейшее к тому призвание»<sup>126</sup>. Но ей нелегко было найти таких людей вокруг себя. Вельможи, ее окружавшие, страдали не одним только тем недостатком, что, по свидетельству статс-секретаря Грибовского, за немногими исключениями, не умели правильно писать по-русски<sup>127</sup>. Среди них скорее можно было найти приятных собеседников вроде обер-шталмейстера Л. Нарышкина<sup>128</sup> или графа А. Строганова<sup>129</sup>, чем дельцов. В этом кругу меркой способности к делам служила еще старая поговорка, слышанная Н. Паниным: «У престола государева от людей, его окружающих», и записанная им в одном докладе Екатерине: «Была бы милость, всякого на все станет»<sup>130</sup>. Но Екатерине уже нельзя было руководиться этою поговоркой в выборе своих сотрудников. Люди с крупными умственными и нравственными достоинствами, образованные и любившие горячо свое отечество, но скромные и прямые, подобные учителю математики при великом князе Павле Порошину<sup>131</sup>, как-то плохо уживались при ее дворе, хотя в инструкции генерал-прокурору она

и обещала опытами показать, что у двора честные люди живут благополучно<sup>132</sup>. Оставалось выбирать из пособников в перевороте 28 июня или из людей, указанных Румянцевым, Салтыковым<sup>133</sup>, Паниным, Потемкиным. Между ними оказывались люди деловитые и не без дарований, чаще с притязаниями вместо дарований, с честолюбием и воображением, решительно превозмогавшими их силы и всякую действительность, бойкие и смелые игроки в судьбу, легко перекраивавшие карту Европы, составлявшие планы разрушения существующих государств и восстановления когда-то существовавших, чертившие будущие границы Российской империи с шестью столицами (С.-Петербург, Москва, Берлин, Вена, Константинополь, Астрахань — по проекту Платона Зубова)<sup>134</sup>. Екатерина была очень доверчива и пристрастна к своим избранникам, преувеличивала их способности и свои надежды на них, ошибалась в первых и обманывалась в последних; но она пользовалась не только их силами, но и самыми слабостями, возбуждала их служебную ревность и соревнование друг с другом и со старыми дельцами, умеряла соперничество, не допуская его до открытой вражды. Осторожный и ленивый Н. Панин, с одной стороны, напевал ей одно, отважный и тоже ленивый Григорий Орлов, с другой, — другое, противоположное, а она, по ее выражению, курц-галопом выступала между обоими вечно враждовавшими друг с другом советниками, и, несмотря на их вражду, «дела шли и шли большим ходом». Одним приемом она еще более усиливала исполнительную ревность своих сотрудников. В отношении к ним ей чаще удавалось принятое ею правило в проведении реформ: лучше подсказывать, чем приказывать. Хорошо изучив людей, она знала, кому какое дело поручить можно, и так осторожно внушала намеченному исполнителю свою мысль, что он принимал ее за свою собственную и тем с большим рвением исполнял ее. Поощряемые милостивым вниманием и возбуждаемые взаимным соперничеством, наперерыв один перед другим стараясь отличиться, эти люди, выхваченные наверх часто житейской случайностью с довольно глубокого низа, внесли в ход дела большое оживление, производили много шума и движения, сделали немало и полезного, но при этом тратили страшно много средств. Они, конечно, произвели впечатление на современников: рассказы об екатерининских орлах долго не умолкали в русском обществе, и Карамзин только с ораторским преувеличением резюмировал эти рассказы, когда говорил в своем «*Похвальном слове*», что «только во время Екатерины видели мы волшебные превращения нежных сибаритов в суровых чад Ла-

кедемона, видели тысячи российских Альцибиадов»<sup>135</sup>. Но надежды, возложенные на молодежь в начале царствования, едва ли были оправданы; иначе великий князь Александр в упомянутом письме к Кочубею не написал бы о людях, занимавших высшие места в 1796 г., что он не желал бы иметь их у себя и лакеями<sup>136</sup>. Суворов в счет идти не может: этот удивительный талант сложился и проявлялся так независимо и своеобразно, казался такою счастливой случайностью, что его трудно отнести к которой-либо школе, елизаветинской или екатерининской.

Впрочем, недостаток хороших дельцов не был самым большим затруднением, с которым приходилось бороться Екатерине. Гораздо труднее было сладить с программой деятельности, продиктованной положением Екатерины и настроением русского общества по вступлении ее на престол. Это была очень сложная и запутанная программа. Екатерина взяла свою власть, а не получила ее. Власть захваченная всегда имеет характер векселя, по которому ждут уплаты, а по настроению русского общества Екатерине предстояло оправдать разнообразные и несогласные ожидания. Новое правительство, созданное общественным движением против прежнего, конечно, должно было действовать наперекор ему. Прежнее правительство вооружило против себя общество пренебрежением к национальным интересам; новое правительство обязывалось действовать в национальном духе. <...> Новое правительство должно было разумно-либеральным образом действий рассеять впечатление испытанного самовластия, сдержать развязавшиеся языки и успокоить общество какими-либо гарантиями порядка и приличия. Впереди негодовавшего общества стояла гвардия — привилегированное, самонадежное и довольно распущенное войско, сделавшее уже несколько государственных переворотов, поставившее несколько правительств, и его принялись облекать «в обряды неудобь носимые», т. е. в прусские мундиры, муштровать по-прусски, обзывали янычарами, унижали перед голштинским сбродом и собирались гнать за границу на войну с Данией за какую-то там Голштинию. Кроме полковых, казарменных интересов, у этой гвардии были еще интересы сословные, деревенские. По своему составу она была тогда еще дворянским войском: в ней служил цвет сословия, ее настроение быстро распространялось по дворянским сельским усадьбам. У дворянства в это время возникали свои заботы. Оно было, наконец, уволено *вчистую*: законом 18 февраля 1762 г. его служба из государственной повинности превращена была в простое требование гражданского долга. Но с обязательною службой тесно связано было, как следствие

с причиной, владение крепостными людьми. Сословие смутно почувствовало приближение кризиса в своем положении и зарождение тревожного вопроса: что же станет с их имениями, державшимися на крепостном труде? Что станут делать они сами, вольные дворяне, без службы? Еще живее почувствовали крестьяне, что с отменой обязательной службы их господ в крепостном праве весы общественной правды наклонились в одну сторону: со времени издания закона 18 февраля усиливаются крестьянские волнения.

Перед этими столь разнообразно взволнованными умами стала Екатерина со своей революционной по происхождению властью и со своими либеральными идеями. Эти умы были уже несколько подготовлены, если не прямо к этим новым идеям, то вообще к новизнам в мышлении, как и в жизни. Подготовка началась с самой половины того века. Во-первых, Семилетняя война дала русским офицерам-дворянам не одни лавры, но и хозяйственные уроки. Участник войны Болотов уверяет в своих записках, что все лучшее служившее тогда в армии российское дворянство, насмотревшись в немецких землях всей тамошней экономии и порядков и, получив потом в силу благодетельного манифеста о вольности увольнение от военной службы, «в состоянии было всю свою прежнюю весьма недостаточную деревенскую экономию привести в несравненно лучшее состояние»<sup>137</sup>. Притом с того же времени в русском обществе пробуждаются литературные и эстетические вкусы, развивается охота к чтению, к романам, романсам, музыке, к занятиям, питающим чувства, а чувства — предтечи идей. А в крестьянской среде бродили уже и самые идеи: на другой год царствования Екатерины в народе пущен был подложный указ императрицы с обвинением дворянства в том, что оно весьма пренебрегает закон Божий и «государственные права»<sup>138</sup>.

Так перед Екатериной встречались, сталкивались и пересекались довольно разносторонние, даже противоположные, течения, интересы и настроения: оскорбленное чувство национального достоинства, «великое роптание на образ правления последних годов», гвардейские притязания, дворянские помыслы о новых поприщах деятельности и страхи за старые права, крестьянские ожидания, наконец, ее собственные идеи и мечты, благоприятные для одних и тревожные для других, но непривычные для всех умов. Екатерине предстояло действовать популярно, либерально и осторожно и в преобразовательном и в охранительном направлении, щадить одни сословные интересы и охранять другие, им враждебные, но самой стоять выше тех и

других, ставя впереди всех интересы всенародные, согласно с основным правилом, неоднократно ею высказанным: «Боже избави играть печальную роль вождя партии, — напротив, следует постоянно стараться приобрести расположение всех подданных». Сверх всего этого, необходимо было предупреждать попытки недовольных в гвардии повторить соблазнительное по успеху дело 28 июня во имя другого лица, пресекать «дешпёральные<sup>139</sup> и безрассудные соурс», как она выражалась. Очевидно, программа Екатерины была довольно сложна и несвободна от противоречий. Она попыталась примирить их по указаниям своего опыта и наблюдения и по соображениям своей гибкой мысли. Находя невозможным ни согласить столь различные задачи, ни пожертвовать одними в пользу других, она разделила их, т. е. каждую задачу проводила в особой сфере правительственной деятельности. Дан был большой ход внешней политике посредством усиленного действия на нее национальных чувств и интересов. Чтобы занять праздное дворянство и определить его новое положение в государстве и обществе, предпринята была широкая реформа областного управления и суда. Наконец, отведена была своя область и новым идеям: на них строилась проектированная система русского законодательства, они проводились как принципы в отдельных узаконениях, вводились в ежедневный оборот мнений как стимулы умов и нравственные регулятивы общежития, были допущены в литературу и даже в школу как образовательное средство и как архитектурное украшение правительственного производства. Но при законодательной, литературной и педагогической пропаганде новых идей Екатерина не трогала исторически сложившихся основ русского государственного строя, предоставляя самим идеям века перерабатывать порядки места. Так распланировалось исполнение программы.

Екатерине нужны были громкие дела, крупные, для всех очевидные успехи, чтобы оправдать свое воцарение и заслужить любовь подданных, для приобретения которой она, по ее признанию, ничем не пренебрегала. Внешняя политика представлялась для того наиболее удобным полем действия при внутренних средствах России и при том положении, какое она заняла в Европе по окончании Семилетней войны. Екатерина старалась поднять и укрепить его с двух сторон, настраивая умы и импонируя на кабинеты. Корифеи европейской мысли, с которыми она вела такие дружеские сношения, располагали общественное мнение Европы в пользу России, распространяя о ней благоприятные сведения, разбивая предубеждение. Но ино-

странные дипломаты уже в самом начале царствования жаловались на гордый и высокомерный тон Екатерины во внешних делах, который нравился ее подданным. «У меня лучшая армия в целом мире, — говорила она Бретейлю в 1763 г., — у меня есть деньги, а через несколько лет у меня будет много денег»<sup>140</sup>. Опираясь на эти средства, Екатерина смело приступила к решению обоих стоявших на очереди вопросов внешней политики, давних и трудных вопросов, из которых один состоял в необходимости продвинуть южную границу России до Черного моря, а другой — в воссоединении Западной Руси. Известно, как вела Екатерина оба этих главных дела своей внешней политики.

Можно различно судить — и судили различно — о приемах и результатах этой политики, но впечатление, произведенное ею на русское общество, едва ли подлежит спору. С. Т. Аксаков помнил из своего детства, как в его семье плакали при вести о смерти Екатерины и говорили, что в ее царствование соседи нас не обижали и наши солдаты при ней побеждали всех и прославились<sup>141</sup>. Это был слабый отзвук, доносившийся до приуральской глуши от шумных внешних дел Екатерины. Людям, стоявшим под более близким действием ее военных и дипломатических успехов, результатом их представлялся небывалый подъем международного значения России. Успехи, достигнутые внешней политикой Петра I, почувствовались в России довольно скромно. Даже ближайшие сотрудники Петра и то считали уже громадным успехом, что они, русские люди, теперь «в общество политических народов присовокуплены», как выразился канцлер Головкин в приветственной речи Петру по поводу заключения Ништадтского мира. Великая Северная война, которою Россия завоевала себе место в семье европейских держав, самой продолжительностью и тяжестью своей ослабляла впечатление своих успехов<sup>142</sup>. «Петр, выводя народ свой из невежества, ставил уже за великое и то, чтобы уравнивать оный державам второго класса», и потому первым предметом своей политики почитал какое-нибудь приобретение в Германии, подготавливал присоединение Голштинии к России, чтобы иметь голос в европейском концерте не в качестве русского царя, а по положению голштинского члена германского корпуса. О собственном абсолютном весе России он еще и не помышлял. Его взгляда держалось русское правительство и после него, несмотря на очевидный рост силы и влияния России. Так изображал международное положение России со времени Петра I до Екатерины II руководитель ее внешней политики Н. Панин, хорошо знавший поли-

тическую историю Европы своего века. Международная улица России по-прежнему оставалась тесна, ограничиваясь шведскими и польскими тревогами да турецко-татарскими опасностями: Швеция помышляла об отместке и начиналась недалеко за Петербургом; Польша стояла на Днестре; ни одного русского корабля не было на Черном море; по северному побережью его господствовали турки и татары, отнимая у России южную степь и грозя ей разбойничьими набегами. Тяжелое чувство учеников, во всем отставших от своих западных учителей, еще более удручало национальный дух. Прошло 34 года царствования Екатерины, и Польши не существовало, южная степь превратилась в Новороссию, Крым стал русскою областью, между Днестром и Днестром не осталось и пяди турецкой земли, контр-адмирал Ушаков<sup>143</sup> с черноморским флотом, в 1791 г. дравшийся с турками недалеко от Константинополя, семь лет спустя вошел в Босфор защитником Турции<sup>144</sup>, а в Швеции только душевно нездоровые люди, вроде короля Густава IV<sup>145</sup>, продолжали думать об отместке. Международный горизонт России раздвинулся дальше ее новых пределов, и за ними открылись ослепительные перспективы, какие со времени Петра I едва ли представлялись самому воспаленному русскому глазу: взятие Константинополя, освобождение христианских народностей Балканского полуострова, разрушение Турции, восстановление Византийской империи.

